



В. Н. МУРОМЦЕВА-БУНИНА

Беседы с памятью

<фрагменты>

<...>

ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ В 1907—1908 гг.

1

С Курского вокзала мы направились в Столовый переулок, еще не решив, где остановимся. Дома узнали, что нам отведены две комнаты: спальня и кабинет папы (сам он переселился на время в мою комнатку). Мама сразу не вышла к нам. Когда я увидела ее, то слезы выступили у меня на глазах, так она изменилась: из полной стала худенькой и напомнила мне ее мать, мою бабушку, скончавшуюся, когда мне шел восьмой год. На меня это произвело такое впечатление, что туман, в котором я жила, рассеялся.

Комнаты Яну понравились. В его кабинете, выходящем в гостиную, стояла тахта, большой письменный стол, над которым висел мой портрет гимназисткой, в профиль, увеличенный одним из моих приятелей. Ян любил эту фотографию.

Мы разложили вещи. За завтраком обменивались впечатлениями с нашими о лете. Ян скоро ушел к Юлию Алексеевичу; я, посидев недолго с мамой, отлучилась на курсы, они были в двух шагах от нас, чтобы узнать расписание экзаменов.

Ян вернулся с братом и Колей, который уже нашел себе пристанище, кажется, у той же хозяйки, где они с Митюшкой жили в прошлом году. Мама оставила их обедать.

За обедом Юлий Алексеевич сообщил, что Телешовы еще на даче. Они 8 сентября, в день Рождества Пресвятой Богородицы, пригласили своих друзей на целый день. Меня это огорчило — в этот день рождение папы, и мне неудобно было бы уехать из дому.

Зайцевы вернулись из Италии, куда они поехали после Парижа, там встретились с друзьями, все влюбились в эту страну.

Каждый мужчина купил себе панаму, загнул поля этой итальянской шляпы по-своему, и вид у всех был победоносный.

Недели три мы тихо прожили, Ян ввел кой-какие нововведения, попросил, чтобы на сладкое ему ежедневно варили яблочный компот.

В середине сентября он отправился в Петербург, надо было продать написанное летом. Нужно было повидаться с Пятницким в «Знании». Вернувшись, с огорчением рассказал, что Пятницкий все еще за границей, ждут его к 30 сентября. Чаще всего Ян проводил вечера у Марьи Карловны Куприной, с которой с давних пор дружил и чье общество ценил, восхищаясь ее умом и остроумием.

Побывал он в издательстве «Шиповник», издателями которого были Копельман и Гржебин. Они решили выпускать альманахи под редакцией Б. К. Зайцева. Для первого альманаха «Шиповник» приобрел у Бунина «Астму». Ян отнес Зайцеву рукопись Нилуса «На берегу моря». Редактору она понравилась, Ян мгновенно написал автору, что вещь его, вероятно, будет принята.

В Москве появился некий Блюменберг, основавший издательство «Земля» и пожелавший выпускать сборники под тем же названием. Он предложил Ивану Алексеевичу стать редактором этих сборников. Шли переговоры за долгими завтраками. Ян был оживлен, но не сразу дал согласие. Сошлись на том, что редактор будет получать 3000 рублей в год, условия хорошие. Ян принял за дело с большим рвением.

30 сентября Ян снова поехал в Петербург, но Пятницкий еще не вернулся, — застрял на Капри. Он думал предложить «На берегу моря» «Знанию». Тогда он решил устроить вещь Нилуса в «Шиповнике», и это ему удалось. Дали аванс в 200 рублей, по условию это произведение должно было появиться не позднее весны 1908 года. Зайцев обещал свое содействие.

Ян то и дело отлучался в Петербург, ему необходимо было повидаться с Пятницким, узнать, как идут дела «Знания». «Шиповник» переманивал его к себе, как переманил Андреева и некоторых других писателей. Но Ян уклонялся от окончательного ответа, хотя условия «Шиповник» предлагал заманчивые.

Гржебин, с которым я встретилась как-то у Зайцевых, — он у них тайно остановился, — сказал мне, что Иван Алексеевич «и самый легкий, и самый трудный из всех писателей». Он был прост, не напускал на себя важности во время переговоров, но добиться окончательного решения от него было трудно.

Художественный театр хотел поставить «Кайна» в переводе Бунина, это было бы очень хорошо и в смысле материальном, —

за два года Ян мог получить десять тысяч рублей. Но, к сожалению, это не осуществилось.

Четвертый раз Ян поехал в Петербург, но Пятницкий опять не оправдал ожидания, и Ян не знал, что ему делать. Желая устроить рассказ Нилуса «Госпожа Милованова» в журнале Марьи Карловны Куприной, он советовал автору переименовать рассказ и предлагал заглавие «Закат».

<...>

3

Через несколько дней, как-то вечером Андреев по телефону пригласил нас приехать к нему. Мы собрались и поехали.

Навстречу нам, кроме хозяина, встал еще кто-то огромный, в блузе, с прямыми откинутыми назад каштановыми волосами, с необыкновенно мощной шеей, с бантом белого галстука, широко раскинутым по вороту блузы. Я сразу узнала Скитальца. На столе стояли две бутылки шампанского.

Андреев был бодр, оживлен, но очень бледен. Он больше стоял или ходил, держа бокал в руке, и все говорил, говорил:

— Хорошо было бы написать сказочку, как мать рассказывает больному сыну,нося его по комнате, что вот пришел великан, такой страшный, большой великан... и упал великан... и мальчик затихает, засыпает... Только и всего...

Я разговаривала со Скитальцем. Пугая меня своей шеей, которая, раздуваясь, выпирала очень большой кадык, он рассказывал о себе. Я слушала его с большим интересом: года два-три перед этим он гремел на всю Россию.

— Я бродяга, певец, писателем я сделался случайно, — рисуясь, говорил он басом. — Горького я боготворил. Я думал: вот настоящий друг! Верил, что он любит меня, Степана, а оказалось, что ему важны были мои писания да выгоды от них, а не я сам. Это самое большое разочарование в моей жизни.

Шампанское было выпито. Андреев позвонил. Лакей внес на большом подносе холодного каплуна, ветчину и еще две бутылки Мумма.

Андреев ничего не ел, только пил и, стоя, говорил, говорил. Я одним ухом слушала Скитальца, а другим отрывочные фразы Андреева.

— Понимаешь, Ванюша, понимаешь, меня все всегда настраивали и настраивают против тебя, даже покойная жена настраивала, а все-таки я люблю тебя.

— А Куприна? — спросил Ян.

— Нет, его не люблю, как писателя, — в нем не душа, а пар, знаешь, как у собак.

— К черту интеллигенцию! Вся она разделяется на три типа: инфлуэнтик, неврастеник и алкоголик.

— Да, тяжело одному, иногда хочется прийти и положить на женские колени голову. Мне очень тяжело.

— Вот пришел великан, большой сильный великан, и упал великан, упал великан.

Я пробовала его уговорить лечь спать. Он усмехнулся:

— Спать! Нет, спать я буду этак дня через два.

Засиделись опять до рассвета.

Из «Лоскутной» я прямо направилась за какой-то справкой на курсы, и мне было весело, что никому и в голову не приходило, что я провела бессонную ночь.

Приехал в Москву Найденов и тоже остановился в «Лоскутной». Иногда он обедал у нас. И я чем чаще встречалась с ним, тем больше чувствовала, как он мало похож на своих «славных» собратьев. Ян за это его любил. И не раз говорил: «Тяжелый человек, но до чего прекрасный, редкого благодетельства!» <...>

4

Через неделю я покончила с экзаменами. И мы с Яном поехали в Петербург в отдельном купе первого класса. Остановились в «Северной гостинице», против Николаевского вокзала. Первым делом Ян позвонил по телефону М. К. Куприной, она пригласила нас к обеду, сказав, что у нее будут адмирал Азбелев и Иорданский, оба сотрудники ее журнала.

С Азбелевым Ян встречался. Он был воспитателем Георгия Александровича, покойного наследника престола, рано умершего от туберкулеза. Знал Азбелев всю царскую семью, рассказывал, что Николай Второй искренне верил, что он помазанник Божий. Блюменберг решил издать Кипплинга, Иван Алексеевич рекомендовал Азбелева как переводчика и согласился редактировать эти переводы, а потому обрадовался, что увидит его и переговорит с ним. С Иорданским он тоже был хорошо знаком. Тот заведовал в журнале внутренним обозрением.

Редакция и квартира М. К. Куприной находились в то время у Пяти Углов. Нас встретила молодая дама, похожая на красивую

цыганку, в ярком «шушуне» поверх черного платья. Приглашенные — адмирал в морской форме, небольшого роста, с приятным лицом, человек лет пятидесяти, и высокий с темными глазами Иорданский, еще совсем молодой, — уже ждали нас. Иван Алексеевич удалился в угол с Азбелевым и быстро сговорился с ним относительно его перевода рассказов Киплинга.

За обедом разговоры шли все время на литературные темы, говорили о «Шиповнике», который может убить «Знание», так как там печатается главным образом «серый» материал, а уход Андреева действительно может нанести удар этому издательству. Передавали, что Андреев сейчас в большой моде. Строит дачу в Финляндии, а пока живет широко в Петербурге, часто отлучается в Москву, чтобы присутствовать на репетициях «Жизни человека». Разговоры не переходили в споры, а потому мне было особенно приятно их слушать, — я впервые была в редакции популярного журнала, и при мне говорили обо всем свободно. И вот среди такой мирной беседы раздался телефонный звонок. Мы узнали, что через четверть часа приедет Александр Иванович и состоится первая встреча Куприных после разрыва.

Ян начал было прощаться, — мы пили кофий, — но Марья Карловна нас удержала.

Вскоре в дверях, немного сутулясь, появился Куприн с красным лицом, с острыми, прищуренными глазками. Его со мной познакомили. Александр Иванович молча, грузно опустился на стул между хозяйкой и мною, неприязненно озираясь. Некоторое время все молчали, а затем загорелся диалог между Куприными, полный раздраженного остроумия. Глаза Марьи Карловны, когда она удачно парировала, сверкали черным блеском. Иорданский, уставившись в одну точку своими темными глазами, не произнес ни единого слова. Он скоро ушел, за ним поднялся и Азбелев.

Нас Марья Карловна опять не отпустила, видимо, не желая оставаться наедине с Александром Ивановичем. Конечно, бутылка с «коротким напитком», как Куприн называл спиртное, осушилась быстро.

— Мне говорили, что вы красивая, — неожиданно обратился он ко мне, — а между тем...

Я хотела ответить, но удержалась, видя, что он сильно во хмелю: «Не всякому слуху верь... мне говорили, что вы воспитанный офицер, а между тем...» (Когда я потом рассказала об этом Яну, он заметил, что и Анне Николаевне, его жене, Куприн при первом знакомстве сказал нечто подобное. «Вообще он любит в лицо сказать неприятность», — добавил Ян.)

Ян, чувствуя, что Марью Карловну тяготит это свидание, стал настойчиво звать Александра Ивановича в разные места. Но пришлось довольно долго уламывать его. Наконец он соблазнился. Прощаясь, мы условились увидаться с Марьей Карловной через два дня у Ростовцевых.

Куприн просил Яна заехать с ним к Елизавете Морицовне, — она, говорил он, волнуется, как сошло свидание, а ей волноваться вредно, ибо она ждет ребенка. Мы заехали в Пале-Руаяль, излюбленную писателями гостиницу на Николаевской улице, и застали Елизавету Морицовну на площадке, кажется, третьего этажа. Она была в домашнем широком платье. Увидав Яна, просила, даже взяла слово, что он привезет обратно Куприна. Ян обещал его не отпускать. И мы поехали дальше, побывали в каких-то ночных притонах, где я увидела мужчин с мрачными испытанными лицами и женщин в ярких, вызывающих нарядах. Везде стоял дым коромыслом. В длинном зале мы поравнялись с господином, одиноко сидевшим за бутылкой красного вина. Ян меня с ним познакомил. Это был Потапенко, поразивший меня сизо-бронзовым цветом лица. Куприн потащил нас дальше.

Наконец мы сели за столик, и Александр Иванович сообщил, что он свою новую вещь «Суламифь» продал в «Шиповник». Ян высказал сожаление, что она не попадет в «Землю», где гонорары выше. Куприн обрадовался:

— Знаешь, Ваня, мне деньги вот как нужны, если дадите, — и он назвал внушительную сумму за лист, — то я пошлю всех к черту, но деньги «на бочку».

— Хорошо, дадим, дадим! — ответил Ян. — Завтра днем мы увидимся, и ты получишь требуемую сумму, если передашь мне рукопись.

Вернувшись в Пале-Руаяль, мы застали Елизавету Морицовну на том же месте, где ее оставили. Лицо ее, под аккуратно причесанными волосами на прямой ряд, было измучено.

На следующий день Куприн вручил Яну «Суламифь» и получил гонорар. Это вызвало бурю: писатели, заинтересованные тем, чтобы эта вещь была в «Шиповнике», так рассвирепели на Ивана Алексеевича, что не подали ему руки, особенно негодовали Арцыбашев и поэт Андрусон.

В этот день Ян побывал у Блока и приобрел у него стихи, заплатив по два рубля за строку. Блок произвел на него впечатление воспитанного и вежливого молодого человека. Вечером мы поехали в «Вену» и ужинали в этом популярном ресторане средней руки. Хозяин любил литературу и даже завел книгу, куда литераторы вносили свои впечатления. Около полуночи в зал

стремительно вошел Блок с высокой, красивой женой, на ней было блестящее розовое платье и что-то похожее на золотую корону.

Опять засиделись далеко за полночь. Петербург гораздо позднее ложился, чем Москва. Мы уже чувствовали большую усталость, но мне все это было внове, а потому хотелось везде побыть подольше.

<...>

7

В Москве шли разговоры о предстоящей премьере «Жизни человека» Андреева. Ян стал поговаривать, что следует хоть на месяц поехать в деревню. Материал для сборника «Земля» он уже передал Блюменбергу, сам дал «Тень птицы» и теперь свободен на некоторое время, а писать ему хочется. Я ничего не имела против того, чтобы пожить зимой в Васильевском, такой глубокой зимы я еще в деревне не переживала. И мы решили после первого представления «Жизни человека» уехать из Москвы. <...>

8

<...> Ян в деревне опять стал иным, чем в городе. Все было иное, начиная с костюма и кончая распорядком дня. Точно это был другой человек. В деревне он вел строгий образ жизни: рано вставал, не поздно ложился, ел вовремя, не пил вина, даже в праздники, много читал сначала, а потом стал писать. Был в ровном настроении.

К праздникам относился равнодушно. Не выходил к гостям Пушешниковых. Сделал исключение для моих родственников, которые у нас обедали. За весь месяц Ян только раз нарушил расписание своего дня.

Мы иногда катались. Как-то поехали вдвоем на бегунках в Колонтаевку. День был солнечный, с синим небом, и все было покрыто инеем. Мы пришли в такое восхищение, что Ян подарил мне в память этого дня свою книгу, написав одно слово «Иней».

По вечерам Ян не писал. После ужина мы выходили на вечернюю прогулку; если бывало тихо, то шли по липовой аллее в поле. Любовались звездами, Коля знал превосходно все созвездия. Когда, по болезни, он зимы проводил с бабушкой в Каменке, то с ув-

лечением читал астрономические книги, изучая небо. Они с Яном отличались острым зрением и видели все, что можно видеть невооруженным глазом, не то что я со своей близорукостью и редким астигматизмом, на который никто, да и я, не обращал внимания. В лунные вечера мы любовались искристым снегом и иногда одиноким Юпитером. Вернувшись домой, сидели в кабине Яна, он чаще всего читал вслух новый рассказ или критику из полученной новой книги журнала, а иногда что-нибудь из любимых авторов. Он писал «Иудею», просматривал «Море богов», «Зодиакальный свет». Писал стихи. Начал переводить «Землю и небо» Байрона, а под самый конец написал «Старую песнь». Обсуждались и новые произведения, только что прослушанные. Коля заводил свое любимое: «Кто выше, Флобер или Толстой?» Ян неожиданно брал книгу одного из этих авторов и читал нам смерть мадам Бовари, «Юлиана Милостивого», «Поликушку» или то место из «Анны Карениной», где у Анны в темноте светились глаза и она это видит...

9

В Москву с нами опять поехал Коля. Мы опять остановились у моих родителей. Не помню точно числа, когда я впервые увидела Шмелева, но помню ярко тот вечер, когда я познакомилась с ним у Махаловых.

Хозяин дома, драматург Разумовский, собрал московских писателей на пьесу Шмелева. Была ли это «Среда» или просто литературный вечер? В памяти встают уютная квартира во втором этаже (по-русски) деревянного дома, гостеприимные хозяева, обильный ужин с горячими закусками. Но ярче всех я вижу Ивана Сергеевича Шмелева. Небольшого роста с нервным асимметричным лицом, с волосами ежиком, с замоскворецкими манерами, он произвел впечатление колючего и самолюбивого человека. Видимо, он волновался и был рад приступить к чтению. Содержание пьесы выпало у меня из памяти, но, вероятно, что-то из военной жизни, так как один герой был денщик. Ян после чтения сказал:

— Вот у вас денщик говорит: «Так что, ваше благородие», — уж очень это истрепано, во всех анекдотах...

Шмелев неприятным тоном:

— А что ж, ему по-французски, что ли, говорить прикажете? Было не в обычае услышать такой тон среди писателей. Конечно, у Яна пропала охота делать дальнейшие замечания. <...>

Мы уже начали, как говорилось у Буниных, вырабатывать маршрут нашего весеннего путешествия. На этот раз в европейские страны. А в самом начале февраля пришла телеграмма из Грязей о внезапной болезни сестры Буниных, туда выехали Настасья Карловна и Евгений Алексеевич, который недавно виделся с сестрой и нашел ее в очень хорошем виде.

— Какая ты стала гладкая! — сказал он по приезде недели две назад.

На другой день пришло и письмо, в котором было сказано, что у Маши страшные боли в животе, после скандала с мужем. Доктор ничего не понимал, советовал везти в Москву. И дня через два мы встречали Настасью Карловну с Машей на Казанском вокзале.

Вид Марьи Алексеевны меня поразил: темный цвет лица, точно оно было под сеткой. С вокзала ее повезли в «Лоскутную» и поместили там вместе с Настасьей Карловной. В тот же вечер был у нее профессор Усов. Он нашел, что нужно обратиться к хирургу Алексинскому, который, осмотрев больную, посоветовал перевезти ее в Иверскую больницу, где он должен был сделать операцию. Мой дядя Всеволод Николаевич Штурм, создатель этой общины, помог все быстро устроить.

Привожу письмо Ивана Алексеевича к Петру Александровичу Нилусу о этих днях (20 февр. 1908):

«Недели две тому назад я писал тебе, что привезли в Москву мою больную сестру и что у нас началась невыносимая жизнь — страхи, беготня по докторам, бешеные расходы и т. д. В позапрошлом воскресеньи знаменитый хирург, предполагавший у сестры гнойник в кишках, сделал ей операцию, во время которой она едва не умерла от хлороформа, — и не нашел никакого гнойника, но сказал нам еще более убийственное слово: саркома, т. е. долгая и мучительная смерть! А у нас, кроме того, есть старуха мать, которая умрет с горя, если умрет сестра, а у сестры двое маленьких детей и т. д. и т. д.

После операции мы созвали консилиум, который немного утешил нас: сказал, что есть слабая надежда, что не саркома, что надо сестру перевезти в терапевтическую лечебницу и начать лечить рентгеновскими лучами, мышьяком и т. п. И мы немного отдохнули. Но что будет дальше? И как жить, не имея возможности работать — до стихов ли мне теперь! — и тратя пятьсот целковых в месяц?

А тут еще полиция: в ночь после консультации ни с того ни с сего — обыск! Я чуть не задохнулся от злобы.

...Мучительно хочется на юг, на солнце, отдохнуть хоть немного, но выехать сейчас нельзя. Одна надежда на ошибку хирурга: теперь сестре лучше».

Да, это были тяжелые дни. Братья были в панике. Слово «операция» их донельзя пугало. Марья Алексеевна тоже к этому известию отнеслась, как к казни. Кто только ее не уговаривал согласиться. Мой брат Павлик, студент-медик второго курса, часами просиживал у ее постели и даже проводил ее в операционный зал.

Когда Марья Алексеевна оправилась, ее перевезли в Остроумовскую клинику, где у нас был знакомый ординатор Н. Н. Аристархов. С его матерью и сестрой мы подружились в Крыму. И он часто заходил к Марье Алексеевне. Ей в клинике стало лучше, она уже вставала и ходила по палате, в которой была одна. Конечно, как в Общине, так и в клинике мы по очереди ежедневно навещали ее. Она была трудной и требовательной больной. Нужно было привозить икру и всякие вкусные гостинцы. Ей казалось, что раз есть деньги на жизнь лучшую, чем ее, то их можно тратить на все, и средства не иссякнут. Конечно, боясь ее огорчать, мы исполняли все ее прихоти. В клинике лечили ее рентгеном и лекарствами.

Привожу выдержку из письма Яна к Нилусу от 9 марта:

«Дорогой, милый Петруша, вчера у меня была большая радость — появилась надежда, что положение сестры не так уж опасно: Голубинин, который осматривал сестру почти месяц тому назад, теперь заявил, что у нее *не* саркома... а что именно, покажет недалекое будущее».

Когда Ян навещал сестру, то он всегда смешил ее, представляя или пьяного или какие-нибудь сценки из их жизни, старался никогда не говорить о ее состоянии. Он очень томился и решил хоть на короткое время уехать в деревню и там что-нибудь написать, так как болезнь стоила очень дорого. Они с Юлием Алексеевичем видели, что на заграничную поездку нужно махнуть рукой.

Немного успокоившись, Ян уехал в Васильевское, а я осталась в Москве, так как Юлий Алексеевич, человек легко теряющийся, чувствовал бы себя очень одиноко без нас обоих.

Из деревни Ян послал открытку П. А. Нилусу, 15 марта:

«...Я уже с неделю в деревне. Немного пишу. Встречаю весну средней России, от которой я уже много лет уезжал на юг. Грязно, мокро, ветер... Потягивает на юг. Пожалуйста, напиши мне

сюда, — между прочим, и о твоём плане пожить в апреле на даче. Меня это интересует, ибо кто знает, сколько я здесь пробуду?»

И действительно, недолго он прожил в деревне. Вскоре вернулся в Москву.

Графиня Бобринская, «товарищ Варвара», решила издавать сборники «Северное сияние». Бунин был приглашен редактором этих сборников. Это было очень кстати. Секретарем их был Лев Исаевич Гальберштадт.

Вскоре Ян получил приглашение выступить на вечере в Киеве. Он с радостью туда поехал. Из Киева отправился в Одессу, хотел немного отдохнуть среди друзей-художников, но внезапно оттуда уехал, получив от меня письмо, — так он объясняет в письме из-под Конотопа П. А. Нилусу свой неожиданный отъезд.

Вероятно, я сообщила, что закрывается клиника и нужно перевезти Машу в какую-нибудь частную лечебницу. По его приезде мы решили Машу поместить в санаторию доктора Майкова, приятеля Юлия Алексеевича. Она находилась довольно близко от нашего дома.

Сергей Федорович Майков, очень любезный человек, посевший от рентгена, был внимателен к сестре Буниных: взял самую низкую плату, и когда Марье Алексеевне не понравилась комната, то ей отвели лучшую за ту же цену. И там продолжали ее лечить рентгеном. После временного улучшения болезнь обострилась, Маше стало хуже. Она с каждым днем худела и слабела. Приглашались знаменитые хирурги, как Постников, знаменитые терапевты, как профессор Голубинин, и все безрезультатно — никто не мог поставить диагноза, теряясь в догадках.

Марья Алексеевна принадлежала к трудным больным и от своего недоверчивого, вспыльчивого характера и от мнительности и отсутствия терпения.

Братья опять пали духом. Решили, что после Пасхи нужно ее перевезти в Ефремов. За ней должна приехать Настасья Карловна, энергичная, бодрая, сильная женщина. Мы решили, пожив недолго в Ефремове для матери, ехать в Васильевское. С нами на праздники отправился туда и Юлий Алексеевич.

Ян, как всегда, откладывал отъезд, дотянул до Страстной и внезапно решил ехать в Святую ночь, говоря, что «в эту ночь пассажиров будет мало», — взяты билеты первого класса мы не могли, и он боялся бессонной ночи в вагоне.

Конечно, моей семье было грустно, что я опять не буду с ними заутрени, не буду с ними разговляться. Я пробовала уговорить Яна, чтобы он поехал с братом, а я приеду к нему через два дня. Но он, живший в большой тревоге, ни за что не хотел расставаться

ся со мной. Понятно, нас многие осуждали. А член судебной палаты Мальцев, снимавший в нашем доме квартиру, сказал мне:

— Ну знаете, — это по-декадентски!

Я ответила, что мать Ивана Алексеевича, находившаяся в сильном горе, будет хоть немного утешена, если мы проведем с ней праздники.

11

Ян оказался прав: вагон второго класса был почти пуст, и мы имели отдельное купе, дав на чай кондуктору. Утром мы приехали в Ефремов.

Мы с Яном остановились в номерах Маргулина, прожили дней десять. Бунины сдали комнату дантистке, и Евгений Алексеевич завел с ней роман. Настасья Карловна очень волновалась. Братья взяли ее сторону и уговорили его «бросить эту историю», сообщив о состоянии Маши, но просили до привоза ее в Ефремов ничего не рассказывать матери. Евгений Алексеевич очень любил свою младшую сестру, относился к ней с нежностью, так как был ее крестным отцом, — она была лет на пятнадцать моложе его и они почти всю жизнь до замужества Маши прожили вместе. Красивая зубная врачиха съехала от них, так как ее комната нужна была для больной сестры. Настасья Карловна после нашего отъезда отправилась в Москву вместе с Юлием Алексеевичем за Машей.

Матери было трудно: на ее руках оказалось двое детей. Пока мы жили в Ефремове, я почти все время проводила с ней и детьми. Сыновья, точно боясь оставаться с нею с глаза на глаз, почти всегда бывали в отсутствии, и мне было донельзя жаль ее. С детьми же я любила возиться.

Когда мы приехали в Васильевское, нас встретила изумительная весна — все было в цвету. Я тогда была огорчена, что наша поездка за границу не состоялась, а теперь я рада, что судьба подарила мне такую прелестную весну: снежная белизна фруктового сада, соловьи. Это напомнило мне мои детские и отроческие впечатления. Я дважды пережила такую чудесную весну в бабушкином имении Тульской губернии Крапивенского уезда: первый раз, когда мне было семь лет, а второй в одиннадцать лет. Фруктовый сад у бабушки занимал двадцать девять десятин да вишеник — десять, так что впечатление было незабываемое. Здесь сад был меньше, но все же он буйно цвел. И мы наслаждались, по вечерам слушая соловьев, особенно в лунные ночи; по

утрам и днем работали под кленом, тоже под трели соловьев. Ян писал стихи. Написал «Бог полдня» и прочел их нам, сидя под белоснежной яблоней в солнечный день. Редактировал переводы Азбелева, рассказы Киплинга для издательства «Земля». Писал «Иудею».

Я начала по его совету переводить с английского «Энох Арден». <...>

12

В Москву мы приехали в конце августа. Опять остановились в Столовом переулке.

28 августа поехали к Телешовым на дачу, в Малаховку, половина которой принадлежала им. Они занимали у самого озера двухэтажный дом в шведском стиле с большими террасами и балконами, сад-цветник доходил до озера. Мы провели там целый день. Погода была прелестная — преддверие бабьего лета.

...Поехали в Петербург. Остановились опять в Северной гостинице. Ян распродал кое-что из летнего запаса. Приобрел материал для второго сборника «Земля» и для «Северного сияния».

Были на обеде у Котляревских вместе с Ростовцевыми и еще с кем-то. Нестор Александрович Котляревский, спокойный и очень располагающий к себе человек, слушая, как Иван Алексеевич изображает кого-нибудь из деревенских обитателей или общих знакомых, все повторял:

— У вас необыкновенный юмористический талант. Вам необходимо написать комедию вроде «Сна в летнюю ночь», почему вы не попробуете? — Жаловался на одного писателя, что он ему предлагал только что две пьесы, и задумчиво произнес: — Иному отцу, если родится двойня, и то неловко.

Смеясь, жаловался, что жена кокетничает со всеми: с дворником, со стулом, с кем угодно!

Вернувшись в Москву, Ян стал говорить, что надо ехать в деревню. Мне не хотелось: 14 декабря было совершеннолетие Павлика и мне приятно было бы провести этот день с ним. Но Ян был неумолим, и я утешилась тем, что ехали мы вдвоем, — Коля еще брал уроки пения, — я уже тяготилась родственниками Яна, с которыми он проводил почти все досуги, ему же хотелось, чтобы я слилась с ними.

В деревне жили Софья Николаевна с братом. Мне была приятна такая жизнь.

Ян перед писанием читал стихи Случевского. Пересматривал еще не напечатанное. Сказал, что хочет составить книгу нашего первого странствия. 6 декабря Софья Николаевна дала нам бегунки, и мы поехали в Колонтаевку. День был прелестный, все в инее, и мы опять наслаждались, катаясь по этой заброшенной усадьбе.

Через несколько дней после этого пришло письмо от Нилуса, который сообщал, что едет в Москву. Ян сказал, что он забыл переговорить с Блюменбергом об очень важном деле, что ему нужно поехать на несколько дней в Москву... конечно, он не отрицал, что ему будет приятно побыть и с «Петрушей», но ехать обоим трудно, громоздко, и денег у нас было в обрез. Мне стало обидно: он как раз попадет на рождение Павлика.

13

На Святках, только что Ян принялся писать «Беден бес», как получил от Нилуса известие, что Куровский серьезно заболел: грудная жаба. Мы сильно встревожились. А вскоре и Ян свалился: «дьявольский» насморк, жар, гастрит. Приезжал даже фельдшер из Предтечева. К счастью, через неделю стал поправляться. 2 января послал письмо Нилусу; делаю из него выдержки:

«Очень встревожен известием о Павлыче. Думаю, что сейчас дело еще не столь опасно, как показалось вам в первую минуту, но грудной жабе верю. Можно и с ней долго жить, но покой нужен, а Павлычу давно, давно пора отдохнуть. Уговорите его взять большой отпуск, придумайте хорошее место отдыха. Пишу и ему».

Далее Ян пишет, что Грузинский хвалит Нилуса за его рассказ. Сообщает адрес «Бюро газетных вырезок», сообщает условия и шутит, что он должен, как автор «На берегу моря», подписаться на самое большое количество вырезок. Просит передать Федорову просьбу дать как можно скорее для «Северного сияния» рассказ в пол-листа или в три четверти. Просит и у Нилуса «шедевра» для «Северного сияния».

Поправившись, Ян принялся за писание и до нашего отъезда кончил «Беден бес», «Иудею» и отрывки перевода из «Золотой легенды».

12 января он посылает Нилусу следующую открытку:

«Забыл главное, главное: в условии с «Шиповником» надо непременно обозначить срок, на какой продаешь книгу. Надо написать: «1 марта 1911 г. Я, Нилус, имею право снова выпус-

тить эту мою книгу “Рассказов” в каком мне угодно издательстве, будет ли распродано издание “Шиповника” или нет — все равно». Ив. Бун.». Сбоку: «Вера кланяется».

14

В Москве то и дело Ян простужался, хотя и легко. Он стремился скорее уехать за границу, в Италию. Я тогда не знала, что ему в молодости грозил туберкулез.

Перед самым нашим отъездом Андреев привез в Москву новую пьесу «Анатэма». У Телешовых в то время не было большого помещения, и «Среда» была устроена у Зайцевых. Они жили на Сивцевом Вражке, снимали вместе с Таней Полиевктовой в особняке нижний этаж, где были две больших комнаты — столовая и кабинет.

Как всегда, на чтении Андреева было много людей, непричастных к литературе. Долго сидели в ожидании автора.

Наконец он приехал, но читать пришлось Голоушеву. Послушав недолго, Леонид Николаевич поднялся и вышел в столовую, за ним последовало несколько приглашенных, мы в том числе.
<...>

Я была простужена, кашляла, кроме того, мы были на отлете. Уже взяли билеты в Одессу; а потому мы раньше других уехали домой.

На извозчике Ян сказал: «Как жаль, что Леонид пишет такие пьесы, — все это от лукавого, а талант у него настоящий, но ему хочется “ученость свою показать”, и как он не понимает при своем уме, что этого делать нельзя? Я думаю, это оттого, что в нем нет настоящей культуры».

15

В вагоне ларингит мой усилился. В Киеве была пересадка, но мы в город не поехали. Поезд от Киева до Одессы был гораздо лучше, чем до Киева.

Остановились в Петербургской гостинице. Ян известил Нилуса, и через полчаса он с Федоровым и Куровским, который уже оправился от припадка, явились к нам. Они быстро ушли завтракать. На прощанье Ян посоветовал мне спросить завтрак в номер, заказать кефаль по-гречески.

Друзья пропали на весь день. Мне, конечно, было и скучно, и неприятно от ожидания. Выйти я не могла, боясь разболеться перед отъездом за границу. В Одессе мы должны были пробыть с неделю. У меня были там родственники, семья покойного папиного дяди, Аркадия Алексеевича Муромцева.

Вернулся Ян только в полночь в сопровождении Куровского. Ян был неприятен и задирчив — я увидела, что лучше его не упрекать. Посидевши недолго, они опять исчезли, вероятно, пошли в пивную Брунса.

К счастью, ларингит быстро у меня прошел, и я стала выходить знакомиться с городом. Зашла к родственникам. Они радушно меня приняли и старались развлекать. Со своим «дядей», которого я называла просто Володей, мы много ходили по улицам. Он был забавный, большой эрудит. Изучал химию, но от нервности не мог держать экзаменов и так и не окончил университета и пока еще нигде не служил. Он хорошо говорил, с ним никогда не бывало скучно, у него тоже был дар, как у Яна, изображать людей.

Некоторые друзья Яна приглашали нас к себе. Были мы запросто у Федоровых, и Лидия Карловна говорила со мной о художниках, о том, что они всегда хотят быть без жен, и что многие жены от этого очень страдают, а некоторые стали жить своей жизнью. Например, жена Заузе все свои досуги отдает карточной игре, у нее постоянная компания, другие заводят романы, иногда бросают мужей, как, например, жена Дворникова.

— Я вся ушла в воспитание сына, Витя этого стоит, он очень талантливый мальчик. Тут ничего не поделаешь, — со вздохом сказала она.

Мне стало грустно — у нас в Москве этого разделения не было. Мы везде бывали вместе, вместе и веселились, и вели серьезные, интересные беседы, и я была рада, что все же в Москве мы будем жить дольше, чем в Одессе.

Пригласили нас чуть ли не на следующий день Куровские. Вера Павловна приготовила любимые блюда Яна. Из художников она жаловала только Петра Александровича Нилуса, других она почти ненавидела за то, что они отнимали ее мужа от семьи.

— Не было ни одного праздника, — жаловалась она, — ни одного воскресенья или четверга, будь это на Страстной неделе, чтобы Буковецкий не приглашал его к себе. И это продолжалось, пока Буковецкий не женился. А после свадьбы перестал у себя устраивать «Четверги», и их перенесли к Доди. И вот добились, что у Павлыча был такой припадок. Мы так за него боялись, и дети, и я, да и художники испугались. Впрочем, как дети под-

росли, он стал бывать у Буковецкого реже, через воскресенье. Теперь у него обеды по воскресеньям.

На обеде у Куровских были Федоровы, Нилус, Заузе и Дворников. После обеда все развеселились: Заузе сел за пианино, началось пение. Нилус с Куровским исполнили дуэт «Не искушай меня без нужды» — все трое были на редкость музыкальны; Лидия Карловна Федорова пустилась в пляс вместе с Яном. Потом маленький Шурик Куровский изобразил какого-то старичка, чем вызвал одобрение.

Была я и на «Четверге» в ресторане Доди. Художники делали исключение для приезжих дам. Я была почти счастлива, что попаду на этот «мальчишник», где Ян будет проявлять свои таланты, а в то время мне хотелось понять его до конца, видеть его в той обстановке, где он особенно легко и свободно чувствовал себя.

У меня была шляпа, черная, из мягкого фетра со страусовым пером и с завязками под подбородком, она шла ко мне, как говорили в Москве. И я не надела ее к художникам... от застенчивости, конечно.

Во втором этаже стоял во всю длину отдельного кабинета стол, на нем лежали альбомы, карандаши, уголь. Художники, которых было много, стали рисовать друг друга. Кто-то сделал рисунок с меня. Все были оживлены, веселы, шутили друг над другом. Из писателей были, конечно, сильно опоздавший Федоров и Ян, из журналистов Дерibas, потомок создателя Одессы, и Филиппов. В этот вечер я познакомилась с милым Эгизом, маленьким, ко всему и всем благостным караимом. Буковецкого не было. Он, кажется, не посещал этих сборищ. Был еще небольшого роста с поднятым плечом художник Скроцкий, едкий человек, которого я отметила.

Когда кабинет был почти полон, стали заказывать ужин, каждый для себя, платили тоже каждый за себя. Некоторые требовали водки, но большинство пило вино, белое или красное, удельное, бессарабское, немногие ограничивались пивом. После того, как утолили голод и хорошо выпили, Заузе сел за пианино, стоявшее у двери, и опять, как у Куровских, началось пение: дуэты Нилуса с Павлычем, который почти ничего не пил и перестал курить. Заузе сказал, что написал романс на стихи Бунина: «Отошли закаты на далекий север», и исполнил его. Ян подбежал к нему, поцеловал в лоб и еще больше оживился. Заузе заиграл плясовую, и я в первый раз увидела, как Ян пляшет один, легко, что-то импровизируя, помогая себе щедрой мимикой.

Дня через два Ян неожиданно сказал, что мы должны уехать 28 февраля.

— Но ведь это день рождения Оли Куровской, ей минет 16 лет, они будут торжественно праздновать этот день и огорчатся, если мы уедем.

— Нет, достаточно всяких праздников, я устал, не могу больше, надо ехать, — твердо возразил Ян.

В день нашего отъезда мы были у Куровских, Ян подарил Оле коробку конфет с шутливой надписью. Вся семья была огорчена нашим отъездом. Мы оставили у них все теплое, вообразив, что за границей, особенно в Италии, весна чуть ли не жаркая. Кроме того, Ян боялся лишнего чемодана. Он никогда не хотел сдавать ничего в багаж, не хотел и отправлять вещей вперед, может быть, и потому, что, несмотря на долгие разговоры, куда мы едем, точного плана у него не было. И я не знала, какие города и даже страны мы посетим. Намечалась Италия, но в общих чертах.

Поезд уходил, кажется, часов в семь. Нас провожали художники и Федоров, на этот раз не опоздавший.

Ян был доволен, спокоен, он действительно устал и от Москвы, и от Одессы. Нам обоим хотелось чего-то нового. Я ехала на Запад в первый раз и была полна интереса к тому, о чем давно мечтала. <...>

